

Иван Тургенев

Затишье



Иван Тургенев

Затишье

«Public Domain»

1856

Тургенев И. С.

Затишье / И. С. Тургенев — «Public Domain», 1856

Начав свою литературную деятельность как писатель «натуральной школы», Тургенев и в повести «Затишье» продолжал борьбу с ложным романтизмом, воспитывая у читателей способность видеть истинно прекрасное в реальной действительности, окружающей их. Именно поэтому повесть Тургенева вызвала сопротивление у поклонников и поклонниц «возвышенной» литературы. Многоплановая композиция повести, позволившая проследить судьбы героев из разных слоев русского общества, переплетение лирико-психологической и иронической манеры повествования – всё это создавало художественные предпосылки для появления тургеневских романов.

© Тургенев И. С., 1856

© Public Domain, 1856

Содержание

I	5
II	9
Конец ознакомительного фрагмента.	18
Комментарии	

Иван Сергеевич Тургенев

Затишье

I

В довольно большой, недавно выбеленной комнате господского флигеля, в деревне Сасове, –го уезда, Т... губернии, сидел за старым покоробленным столиком, на деревянном узком стуле молодой человек в пальто и рассматривал счета. Две стеариновые свечки, в дорожных серебряных шандалах, горели перед ним; в одном углу на лавке стоял открытый погребец, в другом – слуга устанавливал железную кровать. За низкой перегородкой ворчал и шипел самовар; собака ворочалась на только что принесенном сене. В дверях стоял мужик в новом армяке, подпоясанный красным кушаком, с большой бородой и умным лицом, по всем признакам староста; он внимательно глядел на сидевшего молодого человека. У одной стены стояло очень ветхое крошечное фортепьяно, возле столь же древнего комода с дырами вместо замков; между окнами виднелось темное зеркальце; на перегородке висел старый, почти весь облупившийся портрет напудренной женщины в роброне^[1] и с черной ленточкой на тонкой шее. Судя по заметной кривизне потолка и покатоности щелистого пола, флигелек, в который мы ввели читателя, существовал давным-давно; в нем никто постоянно не жил, он служил для господского приезда. Молодой человек, сидевший за столом, был именно владелец деревни Сасовой. Он только накануне прибыл из главного своего имения, отстоящего верст за сто оттуда, и на другой же день собирался уехать, окончивши осмотр хозяйства, выслушавши требования крестьян и поверив все бумаги.

– Ну, однако, довольно, – промолвил он, приподняв голову, – устал. Ты теперь можешь идти, – прибавил он, обращаясь к старосте, – а завтра приходи пораньше, да с утра повести мужиков, чтобы на сходку явились, слышишь?

– Слушаю.

– Да земскому вели мне ведомость за последний месяц представить. Однако ты хорошо сделал, – продолжал барин, оглянувшись, – что стены выбелил. Всё как будто чище.

Староста молча тоже оглянул стены.

– Ну, теперь ступай.

Староста поклонился и вышел.

Барии потянулся.

– Эй! – крикнул он. – Дайте мне чаю... Пора спать.

Слуга отправился за перегородку и скоро вернулся с стаканом чаю, связкой городских котёлок^[2] и сливочником на железном подносе. Барин принялся пить чай, но не успел он отхлебнуть двух глотков, как в соседней комнате послышался стук вошедших людей и чей-то пискливый голос спросил:

– Владимир Сергеич Астахов дома? Можно их видеть?

Владимир Сергеич (так именно звали молодого человека в пальто) с недоумением посмотрел на своего человека и торопливым шёпотом проговорил:

– Поди узнай, кто это?

Человек вышел и прихлопнул за собой плохо затворявшуюся дверь.

– Доложи Владимиру Сергеичу, – раздался тот же пискливый голос, – что сосед их Ипатов желает их видеть, буде не беспокоит; да со мной еще приехал другой сосед, Бодряков, Иван Ильич, толе желают почтение свое засвидетельствовать.

Невольное движение досады вырвалось у Владимира Сергеича. Однако, когда слуга его вошел в комнату, он сказал ему:

– Прости.

И он встал в ожидании гостей.

Дверь отворилась, и появились гости. Один из них, плотный седой старичок, с круглой головкой и светлыми глазками, шел впереди; другой, высокий, худощавый мужчина лет тридцати пяти, с длинным смуглым лицом и беспорядочными волосами, выступал, переваливаясь, сзади. На старичке был опрятный серый сюртук с большими перламутровыми пуговицами; розовый галстучек, до половины скрытый отложным воротничком белой рубашки, свободно обхватывал его шею; на ногах у него красовались штиблеты, приятно пестрели клетки его шотландских панталон, и вообще он весь производил впечатление приятное. Его товарищ, напротив, возбуждал в зрителе чувство менее выгодное; на нем был черный старый фрак, застегнутый наглухо; штаны его, из толстого зимнего трико, подходили под цвет его фрака; ни около шеи, ни у кистей рук не виднелось белья. Старичок первый приблизился к Владимиру Сергеичу и, любезно поклонившись, заговорил тем же тоненьким голоском:

– Честь имею рекомендоваться – ближайший ваш сосед и даже родственник, Ипатов, Михайло Николаич. Давно желал иметь удовольствие с вами познакомиться. Надеюсь, что не беспокоил.

Владимир Сергеич ответил, что он очень рад и сам желал... и что беспокойства никакого нет и не угодно ли сесть... чаю выкушать.

– А этот дворянин, – продолжал старичок, выслушав с приветной улыбкой недомолвленные речи Владимира Сергеича и протянув руку в направлении господина во фраке, – тоже ваш сосед... и мой хороший знакомый, Бодряков, Иван Ильич, сильно желал с вами познакомиться.

Господин во фраке, по лицу которого никто бы не предположил, чтобы он чего-нибудь мог сильно пожелать в своей жизни – до того рассеян и в то же время сонливо было выражение этого лица, – господин во фраке поклонился неловко и вяло. Владимир Сергеич поклонился ему в ответ и вторично попросил гостей присесть.

Гости сели.

– Очень рад, – начал старичок, приятно расставив руки, между тем как его товарищ принялся, слегка раскрыв рот, оглядывать потолок, – очень рад, что имею, наконец, честь видеть вас лично. Хотя вы постоянным жительством вашим и обретаетесь в довольно отдаленном от здешних мест уезде, однако мы считаем вас тоже своим, коренным, так сказать, владельцем.

– Мне это очень лестно, – возразил Владимир Сергеич.

– Лестно ли, нет ли, а оно так. Вы, Владимир Сергеич, извините, мы здесь, в – ом уезде, народ прямой, по простоте живем: говорим, что думаем, без обиняков. У нас даже, скажу вам, на именины друг к другу ездят не иначе, как в сюртуках. Право! Так уж у нас заведено. В соседних уездах нас за это сюртучниками называют и даже упрекают якобы в дурном тоне, но мы на это и внимания не обращаем! Помилуйте, в деревне жить – да еще чиниться?

– Конечно, что может быть лучше... в деревне... этой натуральности в обращении, – заметил Владимир Сергеич.

– А между тем, – возразил старичок, – и у нас в уезде живут люди, можно сказать, умнейшие, европейски образованные люди, хоть и фраков не носят. Вот хоть бы, например, историк наш, Евсюков, Степан Степаныч: он российской историей с самых древнейших времен занимается и в Петербурге известен, ученейший человек! В городе нашем старинное шведское ядро, знаете... там оно среди площади поставлено... ведь это он его открыл. Как же! Центелер, Антон Карлыч... тот естественную историю изучил: впрочем, говорят, эта наука всем немцам далась. Когда у нас, лет десять тому назад, забежавшую гиену убили, так ведь это Антон Карлыч открыл, что она действительно была гиена, по причине особенного устройства ее хвоста. Вот еще Кабурдин есть у нас, помещик; тот больше легкие статейки пишет; очень бойкое у него перо, в «Галатее»^[3] есть его статейки. Бодряков... не Иван Ильич, нет, Иван Ильич этим неглижирует, а другой Бодряков, Сергей... как бишь его по батюшке-то, Иван Ильич... как бишь?

- Сергеич, – подхватил Иван Ильич.
– Да, Сергей Сергеич, – тот стихами занимается. Ну, конечно, не Пушкин, а иногда так отбреет, что хоть бы в столице. Вы его эпиграмму на Агея Фомича знаете?
– На какого Агея Фомича?
– Ах, извините; я всё забываю, что вы все-таки не здешний житель. На нашего исправника. Очень смешная вышла эпиграмма. Иван Ильич, ты, кажется, ее помнишь?
– Агей Фомич, – равнодушно заговорил Бодряков, —

...недаром славно
Дворянским выбором почтен...

- Надо вам сказать, – перебил Ипатов, – что его выбрали почти что одними белыми шарами, ибо человек он наидостойнейший.
– Агей Фомич, – повторил Бодряков, —

...недаром славно
Дворянским выбором почтен:
Он пьет и кушает исправно...
Так как же не исправник он?

Старичок засмеялся.

– Хе-хе-хе! а ведь недурно? С тех пор, поверите ли вы, всякий из нас скажет, например, Агею Фомичу: здравствуйте – и уж непременно прибавит: «Так как же не исправник он?» И Агей Фомич, вы думаете, сердится? Нисколько. Нет – у нас этого и в заведении нет. Вот спросите хоть Ивана Ильича.

Иван Ильич только глазами повел.

– Сердиться за шутку, как это можно! Вот хоть бы Иван Ильич, его у нас прозывают Складная Душа, потому что он весьма скоро на всё соглашается. Что ж? разве Иван Ильич за это обижается? Никогда!

Иван Ильич посмотрел, медленно мигая, сперва на старичка, потом на Владимира Сергеича.

Название «Складная Душа», действительно, очень шло к Ивану Ильичу. В нем и следа не было того, что называется волей или характером. Всякий, кто только хотел, мог увести его с собой куда угодно; стоило только сказать ему: Иван Ильич, поедemте, – он брал шапку и ехал; а подвернись тут другой и скажи ему: Иван Ильич, останьтесь, – он клал шапку и оставался. Нрава он был миролюбивого и тихого, весь свой век прожил холостяком, в карты не играл, но любил сидеть возле играющих и глядеть им по очереди в лица. Без общества он жить не мог и уединения не переносил; он тогда впадал в уныние; впрочем, это с ним случалось очень редко. За ним водилась еще одна особенность: встав рано поутру с постели, он вполголоса напевал старинный романс:

В деревне некогда барон
Жил с деревенской простотою...

Вследствие этой особенности Ивана Ильича его прозывали также шуром; известно, что шур в клетке поет только раз в течение дня, рано поутру. Таков был Иван Ильич Бодряков.

Разговор между Ипатовым и Владимиром Сергеичем продолжался довольно долго, но уже не в прежнем, так сказать, умозрительном направлении. Старичок расспрашивал Владимира Сергеича об его имени, о состоянии его лесных и других дач, об усовершенствованиях,

которые он уже ввел или только намеревался ввести в своем хозяйстве; сообщил ему несколько своих собственных наблюдений, посоветовал, между прочим, для истребления луговых кочек обсыпать их кругом овсом, что будто бы побуждает свиней срывать их своими носами, и т. п. Наконец, однако, заметив, что у Владимира Сергеича слипались глаза и в самых словах проявлялась некоторая медлительность и бессвязность, старичок встал и, любезно поклонившись, объявил, что он не намерен более стеснять своим присутствием, но что надеется иметь удовольствие видеть у себя дорогого гостя не позже завтрашнего дня к обеду.

– А в мою деревню, – прибавил он, – не говорю уже малое дитя, первая встречная, смею сказать, курица или баба вам дорогу укажет, стоит только спросить Ипатовку. Лошади сами добегут.

Владимир Сергеич отвечал с небольшой, впрочем свойственной ему запинкой, что постарается... что если ничего не воспрепятствует...

– Нет, уж мы вас будем ждать наверное, – перебил его ласково старичок, крепко пожал ему руку и проворно вышел, воскликнув у двери в полуоборот, – без церемонии!

Складная Душа Бодряков поклонился молча и исчез вслед за своим товарищем, предвзительно споткнувшись на пороге.

Проводив неожиданных гостей, Владимир Сергеич тотчас разделся, лег в постель и заснул.

Владимир Сергеич Астахов принадлежал к числу людей, которые, осторожно попытавши свои силы на двух-трех различных поприщах, сами говорят о себе, что решились, наконец, взглянуть на жизнь с практической точки зрения и посвящают досуг умножению своих доходов. Он был не глуп, довольно скуп и очень рассудителен, любил чтение, общество, музыку, но всё в меру... и держал себя очень прилично. Ему было всего двадцать семь лет. Подобных ему молодых людей развелось в последнее время много. Он был среднего роста, хорошо сложен, черты лица имел приятные, но мелкие: выражение их почти никогда не менялось, глаза его глядели всегда одним и тем же сухим и светлым взором; лишь изредка смягчался он легким оттенком не то грусти, не то скуки; учтивая улыбка почти не покидала его губ. Волосы у него были прекрасные, белокурые, шелковистые и в длинных завитках. За Владимиром Сергеичем считалось около шестисот душ хорошего имения, и он думал о браке, браке по наклонности, но в то же время выгодном. Особенно хотелось ему сыскать жену со связями. Он находил, что у него недостаточно было связей. Словом, он заслуживал вошедшее недавно в моду название джентльмена.^[4]

Вставши на другое утро, по обыкновению, очень рано, джентльмен наш занялся делами, и, должно отдать ему справедливость, занялся ими довольно дельно, что не всегда можно сказать про молодых практических людей у нас на Руси. Он терпеливо выслушал сбивчивые просьбы и жалобы мужиков, удовлетворил их насколько мог, разобрал возникшие споры и несогласия между родными, одних усостыдил, на других прикрикнул, проверил отчет земского, вывел на свежую воду две-три плутни старосты, словом – распорядился так, что и сам остался собою доволен и крестьяне, возвращаясь со сходки ко дворам, отзывались о нем хорошо. Несмотря на слово, данное накануне Ипатову, Владимир Сергеич решил было обедать дома и даже заказал своему походному повару любимый рисовый суп с потрохами, но вдруг, быть может вследствие чувства довольства, наполнившего его душу с утра, остановился посреди комнаты, ударил себя рукою по лбу и не без некоторой удалости громко воскликнул: «А поеду-ка я к этому старому краснобаю!» Сказано – сделано; чрез полчаса он уже сидел в своем новеньком тарантасе, запряженном четвернею добрых крестьянских лошадей, и ехал в Ипатовку, до которой считалось не более двенадцати верст отличной дороги.

II

Усадьба Михаила Николаевича Ипатова состояла из двух отдельных господских домиков, построенных друг против друга по обеим сторонам огромного проточного пруда. Длинная плотина, обсаженная серебристыми тополями, замыкала этот пруд; почти в уровень с ней виднелась красная крыша небольшой мельницы-колотовки. Построенные одинаково, выкрашенные одной лиловой краской, домики, казалось, переглядывались через широкую водную гладь блестящими стеклами своих маленьких чистых окон. Посредине каждого из домиков выдавалась круглая терраса и возвышался острый фронтон, подпертый четырьмя тесно поставленными белыми колоннами. Вокруг всего пруда шел старинный сад: липы тянулись по нем аллеями, стояли сплошными купами; заматерелые сосны с бледно-желтыми стволами, темные дубы, великолепные ясени высоко поднимали там и сям свои одинокие верхушки; густая зелень разросшихся сиреней и акаций подступала вплоть до самых боков обоих домиков, оставляя открытыми одни их передние стороны, от которых бежали вниз по скатам извилистые, убитые кирпичом дорожки. Пестрые утки, белые и серые гуси плавали отдельными станицами по светлой воде пруда: он никогда не зацветал благодаря обильным ключам, бившим в его «голове» со дна крутого и каменистого оврага. Местоположение усадьбы было хорошо: приветливо, уединенно и красиво.

В одном из двух маленьких домиков жил сам Михаил Николаевич; в другом жила его мать, дряхлая старуха лет семидесяти. Въехавши на плотину, Владимир Сергеич не знал, к какому дому направиться. Он оглянулся – дворовый мальчик удил рыбу, стоя босиком на полугнившей коряге. Владимир Сергеич окликнул его.

– Да вам к кому, к старой барыне аль к барчуку? – возразил мальчик, не сводя глаз с поплавок.

– К какой барыне? – ответил Владимир Сергеич. – Я к Михаилу Николаичу.

– А! к барчуку? Ну так ступайте направо.

И мальчик дернул удочкой и вытащил из неподвижной воды небольшого серебристого карася. Владимир Сергеич отправился направо.

Михаил Николаич играл в шашки со Складной Душою, когда ему доложили о приезде Владимира Сергеича. Он очень обрадовался, вскочил с кресел, выбежал в переднюю и в передней трижды с ним облобызался.

– Вы меня застаете с моим неизменным приятелем, Владимир Сергеич, – заговорил словоохотливый старичок, – с Иваном Ильичом, который, скажу мимоходом, совершенно очарован вашей обходительностью. (Иван Ильич молча глянул в угол.) Он был так добр, остался со мной в шашки играть, а мои все пошли в сад гулять, но я сейчас за ними пошлю...

– Да зачем же беспокоить... – начал было Владимир Сергеич.

– Какое беспокойство, помилосердуйте. Эй, Ванька, сбегай за барышнями скорей... скажи, гость, мол, пожаловал. А каково вам здешняя местность нравится, ведь недурна, не правда ли? Кабурдин стихи на нее сочинил. «Ипатовка, приют любезный», так начинается, – дальше тоже хорошо, только не всё помню. Сад велик, вот беда, не по средствам. А эти два дома, столь между собой схожие, как вы изволили, может быть, заметить, были построены двумя братьями, отцом моим Николаем и дядей Сергеем; они же и сад развели, друзья были примерные... Дамон и... вот тебе на! забыл, как другого звали...

– Пифион,^[5] – заметил Иван Ильич.

– Полно, так ли? Ну всё равно. (Дома старик говорил гораздо развязнее, чем в гостях.) Вам, Владимир Сергеич, вероятно, неизвестно, что я вдовец, лишился жены; старшие детки в казенных заведениях, а со мной только две меньшеньких, да свояченица живет, женина

сестра, вот вы ее сейчас увидите. Да что ж это я вас ничем не потчую. Иван Ильич, распорядись, братец, насчет закуски... Какую вы водку предпочитать изволите?

– Я до обеда ничего не пью.

– Помилуйте, как это можно! А впрочем, как вам будет угодно. Гостю воля, гостю честь. Ведь здесь у нас по простоте. Здесь у нас, осмелюсь так выразиться, не то чтобы захолустье, а затишье, право, затишье, уединенный уголок – вот что! Но что же вы не сядете?

Владимир Сергеич сел, не выпуская из рук шляпы.

– Позвольте вас облегчить, – проговорил Ипатов и, деликатно отняв у него шляпу, отнес ее в угол, потом возвратился, с ласковой улыбкой посмотрел гостю в глаза и, не зная, что бы такое сказать ему приятное, спросил его самым радушным образом, любит ли он играть в шашки?

– Я плохо играю во все игры, – ответил Владимир Сергеич.

– И это с вашей стороны прекрасно, – возразил Ипатов, – но шашки это не игра, а скорее забава, препровождение праздного времени; не так ли, Иван Ильич?

Иван Ильич взглянул на Ипатова равнодушным взглядом, словно думая про себя: «А чёрт их знает – игра ли она или забава», но погода немного он промолвил:

– Да; шашки – ничего.

– Вот, говорят, шахматы другое дело, – продолжал Ипатов, – говорят, это игра претрудная. Но по-моему... а, да вот и мои идут! – перебил он сам себя, взглянув в полурастворенную стеклянную дверь, выходящую в сад.

Владимир Сергеич встал, обернулся и увидел сперва двух девочек лет около десяти, в розовых ситцевых платицах и больших шляпах, проворно взбегавших по ступеням террасы; вскоре за ними появилась девушка лет двадцати, высокого роста, полная и стройная, в темном платье. Все они вошли в комнату, девочки чинно присели перед гостем.

– Вот-с, рекомендую, – проговорил хозяин, – мои дочери-с. Эту вот Катей зовут-с, а эту Настей, а эта вот моя свояченица, Марья Павловна, о которой я уже имел удовольствие вам говорить. Прошу любить да жаловать.

Владимир Сергеич поклонился Марье Павловне; она ответила ему едва заметным наклоном головы.

Марья Павловна держала в руке большой раскрытый нож; ее густые русые волосы слегка растрепались, небольшой зеленый листок запутался в них, коса выбилась из-под гребня, смуглое лицо зарумянилось, и красные губы раскрылись: платье казалось измятым. Она дышала быстро; глаза ее блестели; видно было, что она работала в саду. Она тотчас же вышла из комнаты, девочки побежали за ней.

– Туалет-с немножко в порядок привести, – заметил старик, обращаясь к Владимиру Сергеичу, – без этого нельзя-с.

Владимир Сергеич осклабился ему в ответ и слегка задумался. Марья Павловна его поразила. Давно не видывал он такой прямо русской, степной красоты. Она скоро вернулась, села на диван и осталась неподвижной. Волосы свои она убрала, но платья не переменяла, не надела даже манжеток. Черты ее лица выражали не то чтобы гордость, а суровость, почти грубость; лоб ее был широк и низок, нос короток и прям; ленивая и медленная усмешка изредка кривила ее губы; презрительно хмурились ее прямые брови. Она почти постоянно держала свои большие темные глаза опущенными. «Я знаю, – казалось, говорило ее неприветное молодое лицо, – я знаю, что вы все на меня смотрите, ну смотрите, надоели!» Когда же она поднимала свои глаза, в них было что-то дикое, красивое и тупое, напоминавшее взор лани. Сложена она была великолепно. Классический поэт сравнил бы ее с Церерой или Юноной.^[6]

– Что вы делали в саду? – спросил ее Ипатов, желавший вовлечь ее в разговор.

– Сухие сучья резали и копали гряды, – отвечала она голосом несколько низким, но приятным и звучным.

– И что ж, вы устали?

– Дети устали; я нет.

– Я знаю, – возразил с улыбкой старик, – ты у меня настоящая Бобелина!^[7] А у бабушки были?

– Были; она почивает.

– Вы любите цветы? – спросил ее Владимир Сергеич.

– Люблю.

– Отчего ты шляпы не надеваешь, когда выходишь? – заметил ей Ипатов, – посмотри, как ты раскраснелась и загорела.

Она молча провела рукой по лицу. Руки у ней были невелики, но немного широки и довольно красны. Она не носила перчаток.

– И садоводство вы любите? – опять спросил ее Владимир Сергеич.

– Да.

Владимир Сергеич принялся рассказывать, какой у него в соседстве прекрасный сад у богатого помещика Н*.

– Главный садовник, немец, одного жалованья получает две тысячи рублей серебром, – сказал он между прочим.

– А как зовут этого садовника? – спросил вдруг Иван Ильич.

– Не помню, кажется Мейер или Миллер. А вам на что?

– Так-с, – ответил Иван Ильич. – Фамилию узнать.

Владимир Сергеич продолжал свой рассказ. Девочки, дочери Михаила Николаича, вошли, тихонько сели и тихонько стали слушать...

Слуга показался в дверях и доложил, что Егор Капитоныч приехал.

– А! проси, проси! – воскликнул Ипатов.

Вошел старичок низенький и толстенький, из породы людей, называемых коротышками или карандашами, с пухлым и в то же время сморщенным личиком вроде печеного яблока. На нем была серая венгерка с черными шнурками и стоячим воротником; его широкие плисовые шаровары, кофейного цвета, оканчивались далеко выше щиколок.

– Здравствуйте, почтеннейший Егор Капитоныч. – воскликнул Ипатов, идя ему навстречу, – давненько мы с вами не видались.

– Да что, – возразил Егор Капитоныч картавым и плаксивым голосом, раскланявшись предварительно со всеми присутствовавшими, – ведь вы знаете, Михаил Николаич, свободный ли я человек?

– А чем же вы не свободный человек, Егор Капитоныч?

– Да как же, Михаил Николаич, семейство, дела... А тут еще Матрена Марковна.

И он махнул рукой.

– А что ж Матрена Марковна?

И Ипатов слегка подмигнул Владимиру Сергеичу, как бы желая заранее возбудить его внимание.

– Да, известно, – возразил Егор Капитоныч, садясь, – всё мною недовольна, будто вы не знаете? Что я ни скажу, всё не так, не деликатно, не прилично. А почему не прилично, господь бог знает. И барышни, дочери мои то есть, туда же, с матери пример берут. Я не говорю, Матрена Марковна прекраснейшая женщина, да уж очень строга насчет манер.

– Да чем же ваши манеры дурны, Егор Капитоныч, помилуйте?

– Я и сам то же думаю, да, видно, ей угодить мудрено. Вчера, например, говорю я за столом: Матрена Марковна (и Егор Капитоныч придал голосу своему самое вкрадчивое выражение), Матрена Марковна, говорю я, что это, как Алдошка лошадей не бережет, ездить не умеет, говорю; вороного-то жеребца совсем закачало. И-их, Матрена Марковна как вспыхнет, как примется стыдить меня: выражаться ты, дескать, прилично не умеешь в дамском обще-

стве; барышни тотчас из-за стола повскакали, а на другой день бирюлевским барышням, жениным племянницам, уже всё известно. А чем я дурно выразился? посудите сами. И что бы я ни сказал, иногда неосторожно, точно, – с кем этого не бывает, особенно дома, – бирюлевским барышням на другой день уже всё известно. Просто не знаешь, как быть. Иногда сижу я этак, думаю с своей манерой, – я, вы, может, знаете, дышу тяжело, – Матрена Марковна опять меня стыдить примется: не сопи, говорит, кто нынче сопит! Что ты бранишься, говорю я, Матрена Марковна, помилуй, надо соболезновать, а ты бранишься. Уж я теперь дома больше не думаю. Сижу и на низ всё так гляжу. Ей-богу. А то еще, на днях, спать мы ложились: Матрена Марковна, говорю я, что ты это, матушка, своего казачка как избаловала, ведь он, говорю, поросенок этакой, хоть бы в воскресенье лицо-то вымыл. Что ж? Ведь, кажется, далеко, нежно сказал, а и тут не потрафил, опять начала меня Матрена Марковна стыдить: не умеешь, говорит, в дамском обществе держать себя, а на другой день бирюлевским барышням всё известно. Где уж тут о выездах думать, Михаил Николаич?

– Это для меня удивительно, что вы говорить изволите. – возразил Ипатов, – я этого не ожидал от Матрены Марковны; кажется, она...

– Прекраснейшая женщина, – подхватил Егор Капитоныч, – примерная, можно сказать, супруга и мать, насчет манер только строга. Говорит, во всем нужен ансамбль, и будто у меня его нет. Я по-французски, вы знаете, не говорю, так только понимаю. Но какой же это ансамбль, которого у меня нет!

Ипатов, который сам не больно был силен во французском языке, только плечами пожал.

– А что ваши детки, сыновья то есть? – спросил он Егора Капитоныча немного погодя.

Егор Капитоныч посмотрел на него сбоку.

– Что сыновья, ничего. Я ими доволен. Барышни, те от рук отбились, а сыновьями я доволен. Леля служит хорошо, начальство его одобряет; Леля у меня ловкий ребенок. Ну Михец – тот не так: филантроп какой-то вышел.

– Отчего филантроп?

– Господь его знает, ни с кем не говорит, дичится. Матрена Марковна его больше конфузит. Что, говорит, с отца пример берешь-то? Ты его уважай, а в манерах подражай матери. Выравниается, пойдет и он.

Владимир Сергеич попросил Ипатова познакомить его с Егором Капитонычем. Между ними завязался разговор, Марья Павловна не принимала в нем участия; к ней подсел Иван Ильич, да и тот сказал ей всего слова два; девочки подошли к нему и начали что-то шепотом рассказывать... Вошла ключница, худая старуха, повязанная темным платком, и объявила, что обед готов. Все отправились в столовую.

Обед продолжался довольно долго. Ипатов хорошего держал повара, и вина он выписывал недурные, хотя не из Москвы, а из губернского города. Ипатов жил, как говорится, в свое удовольствие. Душ за ним числилось не более трехсот, но он никому не был должен и именно привел в порядок. За столом разговаривал больше сам хозяин; Егор Капитоныч ему вторил, но в то же время не забывал себя: кушал и пил на славу. Марья Павловна всё молчала, лишь изредка отвечая полуулыбками на торопливые речи двух девочек, сидевших по обоим ее бокам; они, по-видимому, очень ее любили; Владимир Сергеич пытался несколько раз заговорить с нею, однако без особенного успеха. Складная Душа Бодряков даже ел лениво и вяло. После обеда все пошли на террасу пить кофе. Погода была прекрасная; из сада несло сладким запахом лип, стоявших тогда в полном цвету; летний воздух, слегка охлажденный густою тенью деревьев и влажностью близкого пруда, дышал какой-то ласковой теплотой. Вдруг из-за топей плотины примчался конский топот, и спустя мгновение показалась всадница в длинной амазонке и круглой серой шляпе, на гнедой лошади; она ехала галопом, казачок скакал сзади ее на небольшом белом клеппере.^[8]

– А! – воскликнул Ипатов, – Надежда Алексеевна едет – вот приятный сюрприз.

– Одна? – спросила Марья Павловна, стоявшая до того мгновенья неподвижно у дверей.
– Одна... видно, Петра Алексеича что-нибудь задержало.

Марья Павловна глянула исподлобья, краска разлилась по ее лицу, она отвортилась.

Между тем всадница въехала через калитку в сад, подскакала к террасе и легко спрыгнула на землю, не дождавшись ни своего казачка, ни Ипатова, который направился было к ней навстречу. Проворно подобрав подол своей амазонки, вбежала она по ступеням и, вскочив на террасу, весело воскликнула:

– Вот и я!

– Милости просим! – промолвил Ипатов. – Вот неожиданно-то, вот мило. Позвольте поцеловать вашу ручку...

– Извольте, – возразила гостья, – только стащите перчатку сами. Я не могу. – И, протянув ему руку, кивнула головой Марье Павловне. – Маша, вообрази, брат не будет сегодня, – сказала она с маленьким вздохом.

– Я и так вижу, что его нет, – вполголоса отвечала Марья Павловна.

– Он велел тебе сказать, что занят. Ты не сердись. Здравствуйте, Егор Капитоныч; здравствуйте, Иван Ильич. Здравствуйте, дети... Вася, – прибавила гостья, обратившись к своему казачку, – вели хорошенько проводить Красавчика, слышишь. Маша, дай мне, пожалуйста, булавку, шлейф приколоть... Михаил Николаич, подите-ка сюда.

Ипатов подошел к ней поближе.

– Кто это новое лицо? – спросила она его довольно громко.

– Это сосед, Астахов, Владимир Сергеевич, знаете, чье Сасово. Хотите, я вас с ним познакомлю?

– Хорошо... после. Ах, какая прекрасная погода, – продолжала она. – Егор Капитоныч, скажите, Матрена Марковна неужели даже в такую погоду ворчит?

– Матрена Марковна не ворчит ни в какую погоду, сударыня, а она только строга насчет манер...

– А что делают бирюлевские барышни? Не правда ли, на другой день уже всё им известно...

И она засмеялась звонким и серебристым смехом.

– Вы всё изволите смеяться, – возразил Егор Капитоныч. – Впрочем, когда же и смеяться, как не в ваши года.

– Егор Капитоныч, милый, не сердитесь! Ах, я устала, позвольте сесть...

Надежда Алексеевна опустилась в кресла и шаловливо надвинула шляпу на самые глаза.

Ипатов подвел к ней Владимира Сергеича.

– Позвольте, Надежда Алексеевна, представить вам соседа нашего, господина Астахова, о котором вы, вероятно, много слышали.

Владимир Сергеич поклонился, а Надежда Алексеевна посмотрела на него из-под околышка своей круглой шляпы.

– Надежда Алексеевна Веретьева, наша соседка, – продолжал Ипатов, обращаясь к Владимиру Сергеичу. – Живет здесь с братцем своим, Петром Алексеичем, отставным гвардии поручиком. Большая приятельница моей свояченице и вообще к нашему дому благоволит.

– Целый формулярный список, – промолвила с усмешкой Надежда Алексеевна, по-прежнему поглядывая на Владимира Сергеича из-под шляпы.

А Владимир Сергеич между тем думал про себя: «Да ведь и эта прехорошенькая». И точно, Надежда Алексеевна была очень милая девица. Тоненькая и стройная, она казалась гораздо моложе, чем была на самом деле. Ей уже минул двадцать седьмой год. Лицо она имела круглое, головку небольшую, пушистые белокурые волосы, острый, почти нахально вздернутый носик и веселые, несколько лукавые глазки. Насмешливость так и светилась в них, так и зажигалась в них искрами. Черты лица ее, чрезвычайно оживленные и подвижные, прини-

мали иногда выражение почти забавное; в них проглядывал юмор. Изредка, большей частью внезапно, тень раздумья набегала на ее лицо – тогда оно становилось кротким и добродушным, но долго предаваться раздумью она не могла. Она легко схватывала смешные стороны людей и порядочно рисовала карикатуры. С самого рождения ее все баловали, и это тотчас можно было заметить: люди, избалованные в детстве, сохраняют особый отпечаток до конца жизни. Брат ее любил, хотя уверял, что она жалится не как пчела, а как оса, потому что пчела ужалит да и умрет, а осе ужалить ничего не значит. Это сравнение ее сердило.

– Вы надолго сюда приехали? – спросила она Владимира Сергеича, опустив глаза и вертя в руках хлыстик.

– Нет, я располагаю завтра же выехать отсюда.

– Куда?

– Домой.

– Домой? Зачем? смею спросить.

– Как зачем? Помилуйте, дома у меня дела есть, не терпящие отлагательства.

Надежда Алексеевна посмотрела на него.

– Разве вы такой... аккуратный человек?

– Я стараюсь быть аккуратным человеком, – возразил Владимир Сергеич. – В наше положительное время всякий порядочный человек *должен* быть положительным и аккуратным.

– Это совершенно справедливо, – заметил Ипатов. – Не правда ли, Иван Ильич?

Иван Ильич только глянул на Ипатова, а Егор Капитоныч промолвил:

– Да, это так.

– Жаль, – сказала Надежда Алексеевна, – а у нас именно недостает *jeune premier*¹. Вы ведь умеете играть комедии?

– Я никогда не испытывал сил своих на этом поприще.

– Я уверена, что вы хорошо бы сыграли. У вас осанка такая... важная, это для нынешних *jeune premier* необходимо. Мы с братом собираемся завести здесь театр. Впрочем, мы не одни комедии будем играть, мы всё будем играть – драмы, балеты и даже трагедии. Чем Маша не Клеопатра или не Федра?^[9] Посмотрите-ка на нее.

Владимир Сергеич обернулся... Прислонившись головою к двери и скрестив руки, Марья Павловна задумчиво глядела вдаль... В это мгновение ее стройные черты действительно напоминали облики древних изваяний. Последних слов Надежды Алексеевны она не расслышала; но, заметив, что взгляды всех внезапно на нее устремились, она тотчас догадалась, в чем было дело, покраснела и хотела уйти в гостиную... Надежда Алексеевна проворно схватила ее за руку и, с кокетливой ласковостью котенка, притянула к себе и поцеловала эту почти мужскую руку. Марья Павловна вспыхнула еще ярче.

– Ты всё шалишь, Надя, – промолвила она.

– Разве я неправду про тебя сказала? Я готова сослаться на всех... Ну полно, полно, не буду. А я опять-таки скажу, – продолжала Надежда Алексеевна, обратившись к Владимиру Сергеичу, – жаль, что вы едете. Правда, есть у нас один *jeune premier*, сам навязывается, да уж очень плох.

– Кто такой? позвольте узнать.

– Бодряков, поэт. Где ж поэту быть *jeune premier*? Во-первых, он так одевается, что ужас, во-вторых, эпиграммы он пишет, а перед всякой женщиной, даже предо мной, представьте, робеет. Пришепечивает, одна рука у него всегда выше головы и уж не знаю что. Скажите, пожалуйста, мосьё Астахов, все ли поэты таковы?

Владимир Сергеич слегка выпрямился.

– Я ни одного из них не знал лично, да и, признаться, не искал никогда их знакомства.

¹ актера на роли первого любовника (*франц.*).

– Да, ведь вы положительный человек. Придется взять Бодрякова, нечего делать. Другие *jeune premier* еще хуже. Этот по крайней мере роль наизусть выучит. Маша у нас, кроме трагических ролей, будет исполнять должность примадонны... Вы, москё Астахов, не слышали, как она поет?

– Нет, – возразил, осклабясь, Владимир Сергеич, – я и не знал...

– Что с тобою сегодня, Надя? – заговорила с недовольным видом Марья Павловна.

Надежда Алексеевна вскочила.

– Ради бога, Маша, спой нам что-нибудь, пожалуйста... пожалуйста... Я от тебя не отстану, пока ты не споешь нам что-нибудь, Маша, душка. Я бы сама спела, чтобы занять гостя, да ведь ты знаешь, какой у меня нехороший голос. Зато, посмотри, как я славно буду тебе аккомпанировать.

Марья Павловна помолчала.

– От тебя не отделаешься, – сказала она наконец. – Ты, как избалованное дитя, привыкла исполнять все свои прихоти. Изволь, я буду петь.

– Bravo, bravo, – воскликнула Надежда Алексеевна и захлопала в ладоши. – Господа, пойдете в гостиную. А что касается до прихотей, – прибавила она смеясь, – это тебе припомнится. Можно ли при незнакомых людях выставлять мои слабости? Егор Капитоныч, Матрена Марковна *так* вас стыдит при чужих?

– Матрена Марковна, – пробормотал Егор Капитоныч, – очень почтенная дама; только насчет манер...

– Ну пойдете, пойдете, – перебила его Надежда Алексеевна и вошла в гостиную.

Все отправились вслед за ней. Она сбросила с себя шляпу и села за фортепьяно. Марья Павловна стала возле стены, довольно далеко от Надежды Алексеевны.

– Маша, – проговорила она, подумав немного, – спой нам «Хлопец сее жито».

Марья Павловна запела. Голос у ней был чист и силен, и пела она хорошо – просто и без вычур. Все слушали ее с большим вниманием, а Владимир Сергеич не мог скрыть свое изумленье. Когда Марья Павловна кончила, он подошел к ней и начал ее уверять, что он никак не ожидал...

– Погодите, то ли еще будет! – перебила его Надежда Алексеевна. – Маша, потешу я твою хохлацкую душу, спой нам теперь «Гомин-гомин по дуброви...»

– Разве вы малороска? – спросил ее Владимир Сергеич.

– Я родом из Малороссии, – отвечала она и принялась петь «Гомин-гомин...»

Сначала она выговаривала слова равнодушно, но заунывно-страстный, родной напев расшевелил понемногу ее самое, щеки ее покраснели, взор заблестал, голос зазвучал горячо. Она кончила.

– Боже мой! как ты это хорошо спела, – проговорила Надежда Алексеевна, склонясь над клавишами. – Как жаль, что брата здесь не было!

Марья Павловна тотчас опустила глаза и усмехнулась своей обычной, горькой усмешкой.

– А надо бы еще что-нибудь, – заметил Ипатов.

– Да, если б вы были так добры, – прибавил Владимир Сергеич.

– Извините меня, я больше петь сегодня не буду, – промолвила Марья Павловна и вышла вон из комнаты.

Надежда Алексеевна посмотрела ей вслед, сперва задумалась, потом улыбнулась, принялась наигрывать одним пальцем «Хлопец сее жито», потом вдруг заиграла блестящую польку и, не кончив ее, взяла громкий аккорд, захлопнула крышку фортепьян и встала.

– Жаль, что не с кем потанцевать, – воскликнула она, – вот бы кстати!

Владимир Сергеич подошел к ней.

– Какой чудесный голос у Марьи Павловны, – заметил он, – и с каким она чувством поет!

– А вы любите музыку?

– Да... очень.

– Такой ученый человек и любите музыку!

– Да почему же вы думаете, что я ученый?

– Ах, да; извините, я всё забываю, вы положительный человек. Куда же это ушла Маша?

Постойте, я схожу за ней.

И Надежда Алексеевна выпорхнула вон из гостиной.

– Вертушка, как изволите видеть, – промолвил Ипатов, подходя к Владимиру Сергеичу, – но сердце добрейшее. И какое воспитание получила, вы не можете представить! На всех языках объясняется. Ну, люди они с состоянием, оно понятно.

– Да, – рассеянно произнес Владимир Сергеич, – очень любезная девица. Но, позвольте спросить, супруга ваша тоже родом была из Малороссии?

– Точно так-с. Покойница жена моя была малороссиянка, так же, как и сестра ее, Марья Павловна. Жена моя, сказать по правде, даже выговор не совсем имела чистый; хотя она русским языком владела в совершенстве, однако все-таки не совсем правильно изъяснялась; знаете там *и* за *ы*, да *ха*, да *же*; ну Марья Павловна, та еще в малых летах из родины выехала. А ведь малороссиянская кровь всё видна, не правда ли?

– Удивительно поет Марья Павловна, – заметил Владимир Сергеич.

– Действительно, недурно, А впрочем, что же это нам чаю не несут? И куда это барышни ушли? Пора чай пить.

Барышни возвратились нескоро. Между тем принесли самовар, накрыли стол для чаю. Ипатов послал за ними. Они пришли обе вместе. Марья Павловна села за стол разливать чай, а Надежда Алексеевна подошла к двери террасы и стала глядеть в сад. После светлого летнего дня наступил ясный и тихий вечер: заря пылала; до половины облитый ее багрянцем, широкий пруд стоял неподвижным зеркалом, величаво отражая в серебристой мгле своего глубокого лона и всю воздушную бездну неба, и опрокинутые, как бы почерневшие деревья, и дом. Всё замолкло кругом. Шума уже не было нигде.

– Посмотрите, как хорошо, – сказала Надежда Алексеевна подошедшему к ней Владимиру Сергеичу, – вон там, внизу, в пруде звезда зажглась подле огонька в доме; он красный, она золотая. А вот и бабушка едет, – прибавила она громко.

Из-за куста сирени показалась небольшая колясочка. Два человека везли ее. В ней сидела старуха, вся закутанная, вся сгорбленная, с головой, склоненной на самую грудь. Бахрома ее белого чепца почти совсем закрывала ее иссохшее и съезженное личико. Колясочка остановилась перед террасой. Ипатов вышел из гостиной, за ним выбежали его дочери. Они, как мышата, в течение всего вечера то и дело шныряли из комнаты в комнату.

– Доброго вечера желаю вам, матушка, – сказал Ипатов, подходя к старухе и возвысив голос. – Как вы себя чувствуете?

– Приехала посмотреть на вас, – глухо и с усилием проговорила старушка. – Вишь, какой славный вечер. День-то я спала, а теперь ноги заломили. Ох, мне эти ноги! Не служат, а болят.

– Позвольте, матушка, представить вам нашего соседа, господина Астахова, Владимира Сергеича.

– Очень рада, – возразила старуха, окинув его своими большими и черными, но уже потускневшими глазами. – Прошу полюбить моего сынка. Человек он хороший; воспитание я ему дала какое могла; известно, дело женское. Малодушие в нем еще есть, да, бог даст, поостепенится, а пора бы; пора мне сдать ему дела. Это вы, Надя, – прибавила старуха, взглянув на Надежду Алексеевну.

– Я, бабушка.

– А Маша чай разливает?

– Да, бабушка, разливает чай.

– А кто еще там?

– Иван Ильич да Егор Капитоныч.

– Матрены Марковны муж?

– Он, бабушка.

Старуха пожевала губами.

– Ну, хорошо. Да что, Миша, я никак старосты не добыюсь; вели ему прийти ко мне завтра пораньше, у меня с ним дела будет много. Без меня у вас, я вижу, всё не так идет. Ну, довольно, устала я, везите меня, вы... Прощайте, батюшка, имени и отчества не помню. – прибавила она, обратившись к Владимиру Сергеичу, – извините старуху. А вы, внучки, не провожайте меня. Не надо. Вам бы только всё бегать. Сидите, сидите да уроки твердите, слышите. Маша вас балует. Ну, ступайте.

С трудом приподнятая голова старушки опять упала к ней на грудь...

Колясочка тронулась и тихо укатилась.

– Сколько лет вашей матушке? – спросил Владимир Сергеич.

– Всего семьдесят третий год пошел; да вот уж двадцать шесть лет, как ноги у ней отнялись; это с ней случилось скоро после кончины покойного батюшки. А была красавицей.

Все помолчали.

Вдруг Надежда Алексеевна вздрогнула.

– Что это, летучая, кажется, мышь пролетела? Ах, какой ужас!

И она поспешно вернулась в гостиную.

– Пора мне домой ехать. Михаил Николаич, велите оседлать мою лошадь.

– И мне пора, – заметил Владимир Сергеич.

– Куда же вы? – промолвил Ипатов. – Переночуйте здесь. Надежде Алексеевне всего две версты ехать, а вам целых двенадцать. Да и вы, Надежда Алексеевна, куда спешите? Подождите месяца, он теперь скоро взойдет. Еще светлее будет ехать.

– Пожалуй, – сказала Надежда Алексеевна, – я давно не ездила при луне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

...в роброне... – Старинное женское платье с широкой юбкой на каркасе в виде обруча.

2.

...городских котёлок... – Тульское название кренделей, сваренных в котле.

3.

...в «Галатее»... – Еженедельный журнал литературы, новостей и мод, издававшийся в Москве в 1829–1830 гг. С. Е. Раичем, преподавателем русской словесности Московского университетского пансиона. В журнале принимали участие Пушкин, Вяземский, Баратынский, Тютчев, Шевырев и др. В 1839 г. Раич возобновил журнал под названием «Галатеея, журнал наук, искусств, литературы, новостей и мод». В этом виде «Галатеея» просуществовала еще один год.

4.

...он заслуживал вошедшее недавно в моду название джентльмена. – Слово «джентльмен» утвердилось в русском языке в начале 1840-х годов для обозначения человека благовоспитанного, порядочного (см. Лексикологические заметки к текстам Тургенева: 23. Джентльмен. М. А. – Т сб, вып. 5, с. 343–344).

5.

...Дамон и ~ Пифион... – Пифагорейцы, жители Сиракуз, прославившиеся своей преданной дружбой. Имя друга Дамона в произведениях мировой и русской литературы неустойчиво: его называют Финтий, Финтиас, Пинтиас и т. д. Именно поэтому Ипатов усомнился в правильности подсказанного ему Иваном Ильичом имени Пифион. (Об этом см.: Алексеев М. П. «Затишье». Дамон и Пифион. – Т сб, вып. 1, с. 237–238.)

6.

...сравнил бы ее с Церерой или Юноной. – Церера – римская богиня плодородия; Юнона – римская богиня, покровительница женщин и семейного очага. Сравнивая Машу с этими богинями, Тургенев подчеркивал здоровую красоту и величественность ее облика.

7.

Бобелина – гречанка, видная деятельница в войне против турецкого ига за независимость Греции. Убита в 1828 г.

8.

Клеппер (нем. Клеррег – кляча) – старинное название эстонских местных лошадей.

9.

Чем Маша не Клеопатра или не Федра? – Клеопатра – египетская царица (69–30 гг. до н. э.), знаменитая своей красотой; Федра – героиня греческой мифологии. Трагические судьбы обеих послужили основанием для многих драматических произведений (Шекспира, Расина и др.). В данном случае возможна реминисценция из первой главы «Евгения Онегина», строфа XVII: «Ошикать Федру, Клеопатру...».